

СОДЕРЖАНИЕ

Вам и не снилось... ..	3
Митина любовь	101
Дверь в чужую жизнь	223
Отчаянная осень	313

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...

Таня, Татьяна Николаевна Кольцова, уже восемь лет не была в театре. Билеты, которые возникали то стихийно, то планоно, она сразу же или в последнюю минуту отдавала. И успокаивалась.

А тут не спасешься — ее бывший театр пригласили на гастроли в Москву. Это — ого-го! — какое событие! Она знала: там, в театре, уже готовят представление к наградам и званиям, сшиты новые костюмы, актрисы срочно красят волосы в модный цвет.

Возбужденные, все в ожидании необыкновенных перемен, с блестящими глазами, бывшие подруги нашли ее в Москве и категорически заявили: не придет на премьеру — вовек не простят...

— У нас такая «Вестсайдская», что вам тут не снилось...

«Не спасись», — подумала Татьяна Николаевна.

Целый день она ходила сама не своя. Идти в театр, где началась и кончилась твоя карьера, идти, чтобы пережить именно это, независимо от того, что будет происходить на сцене, а потом говорить какие-то полагающиеся слова, и вместе сплетничать после спектакля, и отвечать на тысячу «почему»...

«Ведь школа нынче — ужас! У детей ничего святого! Неужели не было более подходящего варианта? Это что, жертва?»

Таня заранее знала все эти еще не произнесенные слова. Но дело было даже не в них. Ей действительно не хоте-

лось идти в театр. Не хотелось смотреть эту потрясающую «Вестсайдскую», стоившую Таниной подруге Элле переломанного ребра: они там по замыслу режиссера все время откуда-то прыгали.

— Ничего, срослось, как на собаке, — сказала Элла. — Но я теперь не прыгаю. Я раскачиваюсь на канате.

И говорилось это так вдохновенно, и было столько веры в этот канат, и прыжки, и в «гени-аль-ного!» режиссера, что Таня подумала: с тех пор как она стала учительницей, такая самозабвенная детская вера ее уже не посещает. Умирая, мама ей говорила: «Мир иллюзий тебя отторг. На мой взгляд, старой рационалистки, это не так уж плохо... Живи в жизни... А школа — это ее зерно. Всегда, всегда надежда, что вырастет что-то стоящее... Не страдай о театре. Ты бы все равно не смогла всю жизнь говорить чужие слова...»

Мама умирала два месяца, и таких разговоров между натисками боли было у них немало. И мама все их отдавала Тане. Ломились к ней ее коллеги по научной работе, ее аспиранты, соседи — не принимала. Объясняла Тане:

— Я тебя так мало видела. Это у меня последний шанс. Мое счастье было в работе. Это не фраза. Это на самом деле. Что такое модные тряпки, я не знаю. Я не знаю, что такое материнство, — с трех месяцев тебя растило государство. Я не путешествовала, не бывала на курортах, не обставляла квартир гарнитурами, я ни разу не была у косметички. Мне даже любопытно — это не больно? Все беременности были некстати — не сочетались с моим делом. Я даже не плакала, как полагается бабе, жене, когда разбился твой папа. У меня на носу тогда была защита докторской. Поверишь, в этом была какая-то чудовищно уродливая гордость: у меня несчастье, а я не сгибаюсь, я стою, я даже иду, я даже с блеском защищаюсь...

А Таня видела: она и сейчас гордится этим. В маме это было главное — преодоление всего, что мешало ей рабо-

тать и ощущать себя большим, значительным человеком. И как ни тяжело было Тане, как ни любила она маму в эти последние дни, мысль, что и теперь своими иронично-афористичными речами мама прежде всего сохраняет себя, а уж потом хочет что-то разъяснить, приходила не раз. И тогда она мысленно спрашивала: может, именно в маме умерла артистка? А она ее так жалко, бездарно подвела, не сумела сделать то, что предназначалось ей? И утешает мама сейчас себя, а не ее, неудачницу? Иначе зачем так настойчиво? С такой страстью?

— ...Какая ты Нина Заречная? У тебя же аналитический ум и ни грамма рефлексий. Ты антиактриса по сути.

Мама утешала и утешалась. Ведь тогда прошел всего год, как Таня ушла из театра. И последние слова мамы были: «Живи в жизни».

И все было нормально эти семь лет, пока не свалился на голову театр из прошлого со своей «Вестсайдской историей». И мама вспомнилась в связи с ним. Она же: «Не ходи в театр, плюнь! Пока не освободишься от комплекса. Читай! Это всегда наверняка интересней — первоисточник, не искаженный чужим глупым голосом».

Родилась спасительная мысль — раз уж идти, то она возьмет в театр свой класс. Правда, она его еще не знает, ей дают новый, девятый. Но уже конец августа, списки утрясены, через ребят, которых она учила в восьмом, можно будет собрать человек десять. Убьет сразу двух зайцев. Посмотрит «на материал», с которым ей придется работать, и спасется от последующего после спектакля банкета, где надо будет всех безудержно хвалить, сулить звания и одновременно убеждать под сочувствующие и неверящие взгляды, что она вполне довольна работой в школе. Она скажет: «Я здесь с классом. Я с вами потом».

Таня пригласила в школу Сашку Рамазанова. Он пришел в грязных джинсах и рваной полосатой тенниске.

— Я думал, надо что-нибудь покрасить или подвигать, — сказал он. Театральная идея его не увлекла и насмешила. — Ну, Татьяна Николаевна! — картинно воскликнул он. — Пригласили бы на Таганку или в «Современник»... А какой нормальный человек пойдет смотреть приезжающую на показ периферию... Этот номер у вас не пройдет. Гарантирую...

— Не будь снобом, — сказала Таня. — У них молодой гениальный режиссер, и весь спектакль — сплошная новация. К тому же там хорошая музыка.

— Разве что... Ладно... Попробую. Может, от скуки народ и соберется.

— Напрягись, — сказала Таня. — Мне очень хочется пойти с вами.

Сашка посмотрел на нее пристально. Поведение учительницы было, на его взгляд, лишено логики: тащиться в театр, да еще в неокончившиеся каникулы, с классом? Больше не с кем? Но Татьяна Николаевна, хоть ей уже и за тридцать, женщина вполне. Сашка охотно пошел бы с ней сам, единолично. Он высокий, здоровый уже мужик, детвора во дворе зовет его «дяденькой». Так что вместе они бы гляделись... Но она, милая их Танечка, тащит с собой класс, что ненормально и противоестественно, хоть сдохни. Но просьба есть просьба, поэтому Сашка обещал обзвонить и обежать народ в ближайшем округе и человек десять подбить «на эксперимент».

— Но если будет дрянь, — сказал Сашка, — я не отвечаю. И буду просить у вас защиты от гнева народов. Побьют ведь!

Спектакль казался никаким. Что называется, не в коня корм. Может, новый режиссер и был талантливым, что-то он напридумывал, но актеры!.. Ни одного, ну просто ни одного нефальшивого слова. И от этого придуманная форма торчала обнаженным каркасом, то ли оставшимся от пожара, то ли брошенным строителями по причине нехватки материалов.

Танины ученики умирали со смеху. Их надо было просто убирать из зала за нетактичное поведение.

— А я предупреждал, — многозначительно сказал Сашка. — Я верил и знал: будет именно так.

Вообще он держался не как ученик, а как Танин приятель. Таня подумала: «Пожалуйста, проблема. Надо сразу ставить его на место. Хороший ведь мальчишечка, просто от роста дуреет...» И посмотрела на его дружка Романа Лавочкина — еще выше. «Господи, куда их тянет! Но с Романом ничего подобного не будет, он мальчик книжный». Вот и сейчас он:

— Татьяна Николаевна! А как проверить — не был ли Шекспир трепачом? Я к чему... Современное искусство о любви — такая брехня, что, если представить, что оно останется жить на пятьсот лет...

— Не останется, — сказал Сашка. — Не переживай.

— Теперь любовь только пополам с лесоповалом, выполнением норм, общественной работой...

— Сейчас ты смотрел любовь пополам с расизмом, — сказал Сашка. — Если тебя смущают только примеси в этом тонком деле, то их было навалом и у древнего человека. Чистой, отделенной от мира любви нет и не может быть.

— А я не люблю виногретов, — ответил Роман. — Вот почему меня волнует правда о Шекспире.

— Без примесей только секс, — с вызовом выложил Сашка и посмотрел на Таню: «Как вам моя смелость? Мой образ мыслей? Широта воззрения?»

Девчонки гневно, но заинтересованно завизжали:

— Скажите ему, Татьяна Николаевна! Скажите!

— Я согласна с Сашей, — сказала она. — Любовь всегда бывает в миру и среди людей. Это жизнь в жизни («Мама!» — печально вздрогнуло сердце).

— Понял? — Сашка хлопнул Романа по спине. — И будут тебе из-за любви вредные примеси в образе двоек, скандалов дома, а потом — что совершенно естественно — будет лесоповал...

— Видел я такую любовь в гробу и белых тапочках, — ответил Роман. — Любовь сама по себе — целый мир. Должна быть такой, во всяком случае.

Расходились по-доброму. Уже дома Таня подумала: «Интересный парень Роман». А какие у нее девчонки? Она толком их и не увидела. Правда, против секса они завизжали дружно, что ни о чем еще не говорит. Это вполне может оказаться жеманством, а не целомудрием, лицемерием, а не добропорядочностью.

...А потом, в бессонницу, снова пришла к Тане мама. Она села в ногах в своем старом-престаром махровом халате и сказала своим сломленным болезнью голосом:

«...Я все думаю о любви, Таня! Это невероятно, сколько я о ней думаю. Мы поженились с папкой перед самой войной, и у нас была возможность поехать на пару недель к морю. Мы отказались. Папа — из-за каких-то цеховых дел, я — из-за ремонта в институте. Без меня, видите ли, не могли покрасить наличники. И сейчас я думаю о том, как я не ходила с папой босиком по пляжному песку, как он не растирал мне спину маслом для загара. Понятия не имею, было ли тогда такое? Как мы не целовались в море, в брызгах... Сплошное НЕ... Недавно у одной писательницы прочла абзац о поцелуях. Ей не нравится, как теперь целуются: откровенно, бесстыдно... А мне нравится... Я бы так хотела... Я буду думать о любви до самой смерти... Ах, черт, как не хочется умирать! Что за судьба у нас с отцом — он в тридцать семь, я в сорок семь... Какой-то злодей нас безбожно обокрал... Вся надежда на тебя, Танюша. Чтоб ты жила захлеб за нас троих...»

Мама была всю жизнь поглощена делами института, делами лаборатории, и такая вот тоскующая о пляжном песке женщина становилась для Тани непонятной и даже чужой. Только на похоронах, среди венков и соболезнований, среди невероятно большой толпы вокруг такой маленькой, почти невесомой женщины, Таня вновь

обрела ту маму, которую всегда знала, любила и побаивалась.

Почему же так получилось, что теперь — и чем дальше, тем чаще — в ногах ее садилась женщина в махровом халате, тоскующая о любви?

Таня знала ответ: мать приходит, потому что дочь не оправдала ее надежд. Она не живет взахлеб, за троих. В сущности, у нее, как и у мамы, в жизни есть только одно — работа.

* * *

Первое сентября полагается считать праздником. За годы работы в школе Татьяна Николаевна научилась понимать и ценить многое в школе, но первосентябрьское ликование ее всегда выводило из себя. Цветы, фотоаппараты, шефы с завода с тоскующими глазами, представители вышестоящих организаций, прячущие за приветливостью тайный инспекторский взор, сутолока, нервы, а в результате обязательно пустые уроки, потому что после всего на «отдать» и «получить» уже просто ни у кого не хватает сил.

И в этот раз она до последней минуты не выходила на школьный двор, наблюдала суету из окна. Увидела Сашку, без единой книжки, но с газетой. Он тряс ею над головой и собирал вокруг себя народ. «А! — подумала Таня. — У него рецензия на „Вестсайдскую историю“». Она ее прочла вчера.

В рецензии было все: «нервная ткань формы на аспидно-черном фоне...», «пластичное страдание» и «бьющая наотмашь символика». Были эпитеты — «незаурядный», «мыслящий», «ярко индивидуальный» и прочее. И сейчас, глядя, как Сашка читает ребятам рецензию «Гимн любви», она вдруг поняла: первое сентября она не воспринимает именно потому, что оно ей напоминает театр, день «сдачи спектакля». Там тоже ходят переполненные ответственностью инспектора от культуры и смущенные